

Трилогия 1
Книга 1: МОЙ ИЗРАИЛЬ
Москва, 1971-1972
Издание 1: Иерусалим, 1990
Корректор: Софа Зини
Издание 2: 2003
Редакторы: Зеэв Зорах, Залман-Симха Левин

*4 августа 1971
Комитету по печати
Союзу писателей
«Литературной газете»*

В июне 1971 года я подал заявку в восемь московских издательств с просьбой включить в план книгу под названием «Мой Израиль».

Четыре издательства – «Советский писатель», «Молодая гвардия», «Профиздат», «Наука» – не ответили. В три издательства – «Советская Россия», «Знание», «Московский рабочий» – пригласили и отказали устно. «Политиздат» известил, что предложенная мною тема «достаточно полно освещена в работах, выпущенных издательством, в частности – Ю. Иванов, "Осторожно: сионизм!"».

Сегодня, 4 августа 1971 года, когда мне отказали в заявке уже в восьмом издательстве, я пишу эти первые строки книги.

Я долго ждал этого момента, сомневался в своих силах, но ждал, потому что он не мог не наступить, этот момент, когда я наконец говорю: «Прощай, Россия. Мы ещё здесь, но в своих мыслях уже там, у себя дома. Там мы не раз скажем: "А помнишь?". И наша память отберёт только лучшее. Такой мы тебя запомним».

...И будет день, мы будем сидеть в доме, за окном будет шуметь еврейский город, мы будем воспринимать это как нереальность, с которой, быть может, и сойдём в могилу.

Нашим детям будут непонятны наши комплексы, они будут другие, многие из них оставят свой дом и разлетятся по обширной нашей земле, и куда бы их ни занесло, у них будет свой дом, в который они могут и не возвращаться, но этот дом будет, и будет у них другая судьба.

Август 1971

Я кручу колесо времени, оно то забрасывает меня вперёд на тридцать лет – каким будет новый век для нас, евреев? То – назад на девятнадцать веков к разрушенным стенам Иерусалимского Храма.

В первый раз было трудно крутить колесо времени, я был мал, – только отклонилось до задирын вчерашнего дня обид и завтрашнего, сулившего новые обиды, а потом, что ни день, снова крутил. И от частого пользования стёрлись

на колесе времени задирины, лишь зарубины моего народа остались. По ним и кручу теперь...

Оставшихся в живых гнали, толкая оружием в спину. За спиной оставалась святая земля предков, впереди был весь мир, но без родной земли, то есть ничего. И когда, казалось, был потерян всякий смысл жизни, они обрели новый:

Мы вернёмся к тебе, Иерусалим!

И они шли по миру, строили чужие дома, выращивали чужие сады. А новый смысл жизни давал им силу и возможность жить.

Иногда им казалось, что строят они свой дом и выращивают свой сад, и нет никакого иного смысла жизни, как строить этот дом и выращивать этот сад. И когда они хотели почувствовать себя в нём как у себя дома, их гнали дальше. И вновь они шли по миру строить чужие дома и выращивать чужие сады. И вновь давал им силу и возможность жить завещанный предками смысл жизни:

Мы вернёмся к тебе, Иерусалим!

...На земле есть столбы, на столбах – стрелки, на стрелках – названия известных городов мира и расстояния до них. Ставят эти столбы оригиналы и шутники, реже – чиновники. Возле столбов крутятся туристы, ищут стрелку с дорогим их сердцу городом, рассеянно и скоро смотрят в её направлении – там? Наверное, там, раз показывает стрелка. Долго щёлкают аппаратами, фиксируя множество нулей на стрелке.

А репортёры, кажется, уже исчерпали возможность удовлетворять подобный всеобщий интерес, запечатлев на голом острове с населением в несколько аборигенов столб со стрелками из выброшенных морем деревьяшек.

Но на земле есть ещё один столб, поставленный моим народом, где бы он ни находился.

Но на земле есть ещё одна стрелка, вымеренная точным компасом – сердцем моего народа.

Но на земле есть ещё один город, расстояние до которого измеряется не множеством нулей, а силой мечты моего народа.

...Отец. Он не может не знать, что умирает, как бы от него ни скрывали. Но первый вопрос: «Как там?» И так всю жизнь. Как можно тише. Почти неслышно. Одними глазами.

И вот приближается конец. Его глаза ещё способны выражать. А в глазах...

Никогда мне не выразить это другими словами:

Мы вернёмся к тебе, Иерусалим!

И я накрываю его Звездой Давида, чтобы мир видел, что еврей, как бы он ни жил, всегда умирает евреем.

И я читаю над ним молитву, чтобы мир слышал:

Мы вернёмся к тебе, Иерусалим!

Сентябрь 1971

На мою дочь неудержимо надвигается наш реальный мир, разрушая возведённый ею прекрасный замок её мира. И скоро у её ног окажутся груды

обломков и она горько заплачет, как плачут все дети мира над разрушенными своими творениями.

Но эти дети, в отличие от нее, ещё будут смеяться, полюбив суровую землю своих предков, оказавшуюся не для их прекрасных замков, – полюбив землю, каждый свою, такую, как она есть, потому что это, оказывается, их земля и другой нет, и надо жить и быть за неё в ответе уже перед своими детьми. И всем этим будут наполняться их глаза.

А глаза моей дочери будут наполняться скорбью моего народа, скорбью по неиспытанному чувству – главному в полноценной жизни человека – любить такую, как она есть, землю своих предков, тоже суровую, но свою.

И настанет день, когда она скажет:

Мы вернёмся к тебе, Иерусалим!

Из письма Расулу Гамзатову, автору книги «Мой Дагестан»:

«Моя дочь пришла с улицы и спросила: "Папа, а мы евреи?"

Наверное, вот так же и я спросил у отца...

Теперь она принимает эстафету, ещё одно поколение принимает эстафету тысячелетий.

И вспоминаются строки из вашей книги: "Плохо воину, когда с саблями нападают на него сразу несколько человек. Он не может защитить себя одновременно и со спины и спереди. Но если найдётся скала, о которую можно опереться спиной, дела не так ещё плохи: ловкий и сильный боец может сразить и двух, и трёх врагов, если он опирается спиной о скалу. Дагестан и есть для меня такая скала. Он помогает мне выстоять в самые трудные минуты".

Но тогда, когда я ещё не был тем, кем стал сейчас, – я с этим не мог согласиться. Я хотел быть гражданином мира. Тогда мне были бы смешны строки из вашей книги: "Мой маленький Дагестан и мой огромный мир. Два ручья, которые сливаются в один поток, достигнув долины. Две слезинки, которые вытекают из двух глаз и текут по двум щекам, но рождены одним горем или одной радостью".

А я хотел быть гражданином мира, ведь мне не предлагали выбора.

Я сел в поезд, мчался и думал: пусть у меня будет так много поездов, что все и не упомнишь, и пусть они мчат во все стороны, во все края, во все земли. Прильнув к стеклу, я жадно всматривался в казахские степи и украинские сады, в белорусские леса и русские поля. Я всматривался, даже когда уже ничего не было видно, кроме моего отражения за окном. Что-то искал ещё и не мог найти.

Сел в лодку и греб. Забирался всё дальше и ловил быстрое цветение тундры на севере, запах тайги на востоке, солёные брызги моря на юге. Удивительная земля – всё в ней есть, а я ловил ещё что-то и не мог поймать.

Лез в горы, карабкался всё выше.

Было трудно, хотел опереться о скалу, но обо все скалы уже опирались.

"Опирайся обо все сразу", – давали мне добрые советы, устраиваясь поудобнее.

А я лез выше.

Выше от земли, разделённой земли, по кусочкам разобранной.

Выше – чтобы ничего не видеть.

Выше – чтобы ничего не слышать.

Выше – не хотел ничего знать.

Но выше – только небо.

Одно оно на всех.

А я не Б-г – жить в небе.

Я просто человек.

И спустился на землю, на ту часть земли, куда меня занесли ветры двух тысячелетий. Но прежде чем вернуться на землю, окинул взглядом всю её. Отсюда она казалась нагромождением скал, о которые опираются спиной.

И отыскал свою скалу – «Стену Плача». Грубые камни и травинки торчат из щелей между ними...

Раньше я никогда не плакал.

Я не мог не отыскать свою скалу, потому что у каждого человека есть своя скала, о которую можно опереться, – иначе не было бы этого человека.

И в который раз всплывают теперь уже прекрасные строки из вашей книги: "Отчего же сейчас, когда я снова увидел эти семьдесят саклей, приютившихся у подножия скал, сердце мое раскачалось в груди так, что больно рёбрам, в глазах моих затуманилось и голова закружилась, будто я болен или пьян?"

И у меня есть не меньшее чудо – мой Израиль, мечту о котором донесли во мне сотня поколений. Это во имя их и нас я хочу прижаться к "Стене Плача" моего народа».

К этому приходят, рано или поздно.

Каждый сам, своим путём.

И в этом сила неодолимая народа моего, идущего к Иерусалиму:

Мы вернёмся к тебе, Иерусалим!

Октябрь 1971

И снова кручу колесо времени.

Каторжный труд – крутить колесо времени моего народа, махину, отяжелевшую под страшным грузом прошлого.

У каждого народа есть своё колесо времени, но для многих оно счастливо застопорено в сегодняшней устойчивости, и поглаживают, и похлопывают его с самодовольством собственника, иначе не могущего родиться.

А я кручу колесо времени...

Оставшиеся в живых уходили. За спиной оставались погромы, душегубки, ямы с заживо закопанными, костры с заживо сожжёнными. Впереди были только слёзы. И они несли их по миру; и не было земли, способной впитать их слезы.

И сколько надо было испытать горя, чтобы обозначилась впереди «Стена Плача» и от горя к горю становилась ближе, и стало жизненно необходимо

принести к ней это горе – как сокровище и как жёсткую плату за возможность прижаться к ней.

И сколько надо было пролить слёз, чтобы возникли из них потоки и хлынули к Стене Плача, камни которой способны впитать море слёз.

И вот она близко, Стена Плача моего народа, – грубые камни и травинки торчат из щелей между ними.

Осталось несколько шагов.

Но ноги, как прикованные.

Кажется, можно дотянуться.

Но руки, как связанные.

Последние шаги.

Самые трудные.

И будем плакать.

И высохнут наши глаза, как на груди матери высыхают глаза прижавшихся к ней детей.

Мы придём к тебе, Стена Плача!

Ноябрь 1971

И снова кручу колесо времени моего народа от зарубины к зарубине. О каждой из них как о музейном экспонате известно всё: что было, когда было, где было, скольких не стало. И как в музее, где ничего не меняется на веку человека и после прохождения школьной программы делать вроде бы нечего – разве при случае забежать укрыться от дождя и побродить из зала в зал, от экспоната к экспонату, поглядывая в окно, не прошёл ли дождь, – так и на колесо времени можно повесить табличку «музей».

Но чтобы сдвинуть вперед эту махину из горя и слёз и в будущем ощупать неровности – нет ли новых зарубин моего народа, – приходится сначала отклонить её назад, сжав горе и слезы в мощную пружину, – лишь так можно ворваться в непроницаемое будущее – огромным напряжением на пределе человеческой возможности. Ноги не держат, руки опускаются на колени, голова ложится на руки.

И, толкаемый горем и слезами, ощущая каждую зарубину моего народа как свою, врываюсь в будущее и чувствую какие-то неровности – не новые ли это зарубины моего народа?

Оставшиеся в живых крутили колесо времени от зарубины к зарубине. Это их единица времени, с ней они родились, по ней отличаются. Она нарушает их связь с этим миром, в котором другие единицы времени – дни, годы, века, которые плавно текут и переходят: дни – в годы, годы – в века, века – в вечность.

Незамысловатые ходики – их переводят, подкручивают, – вот и кончился день, а завтра – будет новый. И так будет в этом мире и завтра, и послезавтра. И для живущих в этом мире это означает – жизнь.

А они, со своей единицей времени, оказываются вне этой жизни, простой и понятной, но им недоступной.

Вроде бы и у них прошёл день, но они его не ощущают, потому что не было в нем зарубин их народа. Вроде бы и они ждут завтра, но ждут не новый день, а будет ли новая зарубина их народа?

И так из поколения в поколение – не живут, а присутствуют от зарубины до зарубины.

Незамысловатые ходики – что означает их время, когда просыпаешься не в своем доме? Может быть, хозяева дома недовольны, что рано встал и нарушил их сон, а может быть, они недовольны, что до сих пор не встаешь? Прислушиваешься к каждому скрипу, шороху, пытаешься разобраться, что происходит в доме, в котором присутствуешь.

Но однажды мы проснёмся и увидим те же незамысловатые ходики – часы нашего дома. И с первой секундой нового дня мы впервые ощутим, что то, что с нами может произойти, произойдёт, как происходило, происходит и будет происходить с каждым в его собственном доме.

И эти первые ощутимые секунды начнут складываться в ощутимые минуты, часы, дни, годы, века. И восстановится наша связь с миром, в котором те же самые единицы времени, что и у нас.

И мы начнем жить.

Декабрь 1971

Я кручу колесо времени, чтобы ворваться в будущее и ощупать неровности – нет ли новых зарубин моего народа, а оказываюсь в нашем доме: неровности есть, но зарубин нет. Только на пороге нашего дома есть какие-то неровности – не они ли зарубины? Значит, в будущем мы уже переступили и такой порог, – никому еще не давался легко свой дом, а нам это будет особенно нелегко, потому что мы сознаем себя только теми, кто мы есть.

Мы будем сознавать это, пока тянется за нами через века сплошная зарубина из обвинений в убийстве, предательстве, коварстве, шпионаже, вредительстве, агрессии, неурожаях, болезнях, политических неурядицах, экономических трудностях и вообще в сговоре со всякими тёмными силами против всяких светлых сил.

Мы будем сознавать это и поднимаясь на порог нашего дома.

Но, уже переступая порог нашего дома и всё ещё сознавая себя теми, кто мы есть, мы впервые начнем обретать земное счастье: сознавать себя людьми, как сознают себя итальянцы в Италии, русские в России, греки в Греции.

И если в нашем доме случится голод, мы будем голодать.

И если на наш дом нападут, мы будем защищаться.

И мы вновь станем людьми.

...Но отчего это у тебя? как? когда? – спрашивают глаза мамы, а в них смешались радость, страх, гордость.

Мама, она все понимает, это она себя спрашивает.

Плачь, мама, ведь это счастье, что возвращается высший смысл нашей жизни, который должен нам помогать.

Но не плачь, что он возвращается только сейчас.

Из письма Мариэтте Шагинян, автору книги «Человек и время»:

«Не смущает такая заданность книги: "И на меня нахлынули гены тысячевекового бродяжничества армян по лицу нашей земли, постоянного снятия с этой земли всем домом и скарбом, заселения новых земель, их любовного обхаживания, их покрытия садами и снова снятия, передвижения... с вечной стабильностью мечты о родине, звездой освещающей путь вечных передвижений. Я очутилась в царстве генов, разноголосица которых забила мне уши, как морской шум забивает раковину".

И вот что интересно – как и когда пробудились гены у героини?

С пробуждением генов у ребенка, над которым вдруг осталось крохотное небо, обрамлённое рожицами юных сверстников, загнавших его в яму и распевавших над ним ещё не понятные гнусности, и каждый раз, когда он выкарабкивается, чтобы снова увидеть всё небо, и снова сталкивается вниз, – с таким пробуждением генов просто и понятно, что даже неинтересно.

Поэтому скорее дальше по дороге генов героини – это жизненно важно ставшему взрослым бывшему ребёнку: "Русское начало проникало во все поры нашего дома: русские кормилицы вскармливали нас своим молоком... русская няня была главным звеном нашей связи с внешним миром..."

И вот ей тридцать лет, и она бродит по древней столице армян – Ани: "...столицу Ани, вернее то, что от неё осталось, я увидела собственными глазами, – не очень, правда, переживая в те времена встречу с ней".

А вот как на вершине лет ей видится та же древняя столица, которая уже по ту сторону границы: "И для меня сейчас, когда оживляю пережитое в памяти и перевожу его тонкою нитью времени из прошлого – в познаваемое будущее, в движение мысли и пера вперёд, – это увиденное когда-то скопление улиц, районы рабочих цехов, людского жилья, бань, площадей, судилищ, торжищ, знатных дворцов и нищих караван-сараев становится исходом моих далеких предков, землёй, которую кровь моя, откликаюсь, чувствует своею, кровной".

И понимая, что на вопрос вопросов надо ответить и себе и людям, героиня поясняет: "До чего узко понимаются учёными эти самые гены, как если бы генеалогия каждого из нас начиналась с бабушек и дедушек, а не с Адама и Евы!"

И никчемными становятся: отчего? как? когда? Просто гены. Они у всех одинаковые, даже и у тех, над которыми всегда было большое небо.

И ставший взрослым бывший ребёнок, над которым однажды вдруг осталось крохотное небо, окунается в нахлынувшие на героиню гены как равный, не думая больше о своей ущербности.»

Человек и время взаимосвязаны.

Сегодняшнее время – раскрепощённых генов.

Сегодняшнее время требует:

Отпусти народ мой!

Январь 1972

...Я вырываюсь из темноты и разрываю танцующий и поющий круг, и руки справа и слева ложатся мне на спину и плечи, подхватывают меня, и мои руки ложатся на спины и плечи – и вот я втянут во вращение круга, а круг рвется и ширится, захватывает всю улицу, выскакивает на тротуары, убыстряет вращение и ритм танца и песни, но как хорошо поддерживают меня чужие руки, лежащие на спине и плечах, как уютно моим рукам на чужих спинах и плечах, – и не чувствую своих ног, хоть никогда не был танцором, не пугаюсь своего голоса, который обычно портит песню, и как хочется, чтобы никогда не кончались танец и песня, чтобы всегда ощущать единственные руки, плечи, спины, на которые можно положиться, – чужие все лица, но все родные и дорогие, с печатью одного прошлого и одного будущего, одной заботы и одной надежды, одного горя и одной радости, в темноте освещающей изнутри наш танцующий и поющий круг.

Это в свой праздник гены, изголодавшиеся и истосковавшиеся, вывели нас на сцену из затворничества приглушённых песен и тостов.

Невидимые и неосязаемые, они сильнее нас, их не сдержать.

Но неуютно на этой сцене под сверлящими нас из темноты зала глазами, а их много, этих глаз, – весь зал – пытливые глаза.

Для этих глаз танец и песня вроде бы те же, над которыми они ещё недавно снисходительно подсмеивались, когда подгулявшие растратчики смысла своей жизни, шутовством прикрывая потерянное свое человеческое достоинство, танцевали и пели отходную себе, но настораживают эти глаза новая динамика танца и новое звучание песни, – и нет больше в этих глазах унижительной для нашего человеческого достоинства снисходительности, её заменили поднимающие наше человеческое достоинство – раздражение и беспокойство: отчего это у них? как? когда?

А мы танцуем и поем, что в новом, неведомом ранее нам твердом и прочном переплетении рук танцующего и поющего круга утверждается живучесть нашего народа, способного на осуществление главного тоста на нашем празднике – тоста нашей надежды:

В будущем году в Иерусалиме!

И мы танцуем и поём, что наши дети в нашем зале, на светлой сцене привычно положат руки на спины и плечи друг друга и под прихлопывание и подпевание всего зала так закрутят танцующий и поющий круг, что взлетит над залом песня, рождённая привычным для наших детей твердым и прочным переплетением рук.

И возвестит эта песня о празднике, ярче нашего, – так всегда должно быть у счастливых детей.

А нет для народа большего счастья, чем счастливые дети.

И полетит над землёй песня счастливого народа.

И мы танцуем и поём, смеёмся и плачем от счастья.

Песня будущего летит к нам.

Февраль 1972

Я слышу песню будущего и иду на нее, как идёт в темноте на огонёк путник, не знающий дороги.

Путник хотел бы устремиться прямо на огонёк, но вокруг пни, коряги, камни, ямы, и он идёт осторожно, ощупью, что-то обходит то в одну сторону, то в другую, и порой ему кажется, что огонёк даже вроде бы удаляется, но путник идёт, держит направление на огонёк, – и вдруг чувствует, что идёт по тропе.

Если есть впереди огонёк, то должна быть к нему тропа – пусть неприметная, не многими хоженная, но это тропа.

И чтобы не сойти с тропы, путник не будет обходить препятствия, а из-за усыпленной осторожности, что теперь, наверное, дойдёт до огонька, может упасть и разбиться, – но это тропа, по которой можно идти.

И хоть теперь порой кажется, что огонёк не становится ближе, путник чувствует, что это та самая тропа, которая ведёт к огоньку и другой полегче нет и не должно быть – откуда быть другой тропе, если всего один огонёк во всю ширь тьмы.

Так и я, как путник на огонёк, иду на нашу песню будущего.

Ты слышишь песню будущего, и твои руки обнимают ребенка не как обнимали меня руки мамы, будто укрывали от опасности. Ты тоже чувствуешь опасность, и в твоих глазах ещё вечный страх матерей нашего народа за своих детей, но твои руки не укрывают.

В таких руках матерей нашего народа должно быть много детей.

И с первым прикосновением таких рук к ним прикоснётся земля, дающая их матерям такие руки, и если придётся защитить эту землю, им не нужны будут доказательства необходимости жертвы, каждый раз новые, – доказательством станет своя земля.

А мне не придётся разрывать твои руки, обхватившие их шеи, и ты не будешь цепляться за их одежду, не желая отпустить, пусть бы горел весь мир, но без твоих детей.

И если случится горе, оно может нас убить, лишит рассудка, ведь мы не каменные, но горе не превратит нас в животных, попавших сразу в несколько капканов и не понимающих, что с ними происходит.

Не допустит этого обрётённый смысл нашей жизни – напротив, он даст нам силу, если глаз уже не сможет вести прицельный огонь, а рука не сможет держать оружие, – он поможет выдернуть чеку из гранаты и замахнуть...

И не будет колыхаться чужая земля над закопанными стариками нашего народа.

Как мать, накроет нас родная земля.

На этой доброй земле будут жить дети наших детей.

И как с молоком матери впитываются живительные силы, так и от святой матери-земли они впитают величие своего народа, который дал мудрость человечеству.

Они напишут свою книгу.

У каждого времени своя книга.

И, может, войдёт в ту книгу одной страницей огромная книга, которую сейчас пишет наш народ и одной страницей которой является моя книга.

И мы не кончимся.

Мы уйдём в вечность.

Март 1972

Немало прошёл я разных троп...

Но в конце каждой тропы меня мучил вопрос: а что дальше? И появлялась новая тропа, чтобы кончиться всё тем же мучительным вопросом: а что дальше?

А вокруг было много альпинистов, я спрашивал их, спустившихся с гор и счастливых: а что дальше? Дальше у них были новые горы. А что дальше? И дальше – у них были новые горы.

И я завидовал тем, кто жили, как альпинисты, пока не понял, что, идя от тропы к тропе, уже давно иду по главной тропе моей жизни.

Слились все прежние тропы, как сливаются на оконном стекле дождевые капли, и где была первая капля, давшая начало скатывающейся струйке, уже не видно, как не видно, где были услышаны обнаружившие слух первые слабые, разрозненные звуки, от тропы к тропе звучавшие громче и яснее и наконец слившиеся в песню будущего моего народа, ведущую меня по новой тропе.

И нет больше мучительного вопроса: а что дальше?

В главной тропе моей жизни есть новая тропа, самая лучшая.

Немало прошёл я разных троп...

И всегда было так: лучше пройденных троп – только новая тропа.

Но однажды новой тропой становится та, о которой и не мечтал.

С такой тропы приходишь другим.

Немало прошёл я разных троп...

Была у меня борода, она означала нелегкость тропы и мою непреклонность перед ней.

Теперь она означает новое – мудрость шагов по этой тропе. В этой мудрости неизбежность и неотвратимость тропы для моего народа.

Тропа очистит его, как однажды фильтровали пески пустыни несколько поколений.

...Вот он идет. Уже не по тропе – её он прошел. Это – дорога победы. Маленькая дорога самой большой победы – над собой.

Руки тянутся к нему, много рук, и его руки тянутся к нам, но руками уже не дотянуться – надо пройти всю тропу до конца, чтобы оказаться по ту сторону невысокой решётки, которую можно взять одним прыжком, но эти тянущиеся

руки ещё крепко стиснут друг друга, и мы вспомним тропу, породнившую нас, как может роднить опасность вставших перед ней во весь рост.

И нет ни наших посиневших от холода рук, нет ни автобуса, который возвращает нас на тропу, нет ни времени.

Есть только тропа.

Немало прошёл я разных троп...

И не раз было, что нет ни дня, ни ночи, ни жары, ни холода, ни жажды, ни голода, – ничего нет, кроме тропы, которую надо взять.

И во всём мире – только тропа и ты.

И останавливается время.

И тут – кто кого: или ты – тропу, или тропа – тебя.

Апрель 1972

Немало прошёл я разных троп...

С каждой новой тропой уходил дальше от людей.

Тонким волоском жизни в окружающем мире была тропа. И я держался за волосок жизни, чтобы снова вернуться к людям.

А теперь они, к которым я возвращался после каждой пройденной тропы, – моя новая тропа.

Они не знают о себе, чем стали теперь для меня, пока я буду сознавать себя тем, кто я есть.

Разные они: улыбаются и хмурятся, смеются и плачут, поют и молчат, но все они – и оригиналы, и чиновники, и мудрецы, и простаки, – став тропой, становятся похожи друг на друга, как похожи песчинки песка пустыни, однажды фильтровавшего мой народ, или как похожи капли воды моря, однажды преградившего путь моему народу и расступившегося перед ним.

Немало прошёл я разных троп...

И всегда было – тропа остается тропой только для первых.

Потом идёшь по ней и чувствуешь, что это не тропа: чаща, сквозь которую надо было продираться, вытоптана, – идёшь как по центральной улице города; топь, которая должна была засасывать, высушена одной только обувью прошедших, – идёшь, как по суну; камни сглажены разбившимися о них. Да и вся тропа стала какой-то дачной.

Так будет с любой тропой, кроме лишь этой.

На этой тропе чуть протоптанная чаща быстро зарастает новой порослью, потому что нет ничего живучее корней этой чащи.

И сколько бы ни было этой тропе времени – лишь миг для тропы.

Что может измениться за короткое время на этой тропе?

Разве что изменится наклон земной оси, и климат станет губительным для корней чащи этой тропы.

Может быть, засияет в небе приближающаяся к земле звезда, и земля потянется к ней.

Но это редко бывает, и когда может быть – никто не знает.

И тропа всегда останется тропой.
Пока будет кому по ней идти.

Май 1972

Дорога человечества, как всякая дорога, то петляет на одном месте, то устремляется вперед, то поворачивает в одну сторону, то – в другую. Вокруг дороги много троп, они выходят из дороги, пересекают ее, сходятся к ней. Каждая из троп короче дороги, а из троп короче – которая труднее.

По дороге человечества и ее тропам идут народы. Из всех сил идут, выбирают тропу потруднее – никто не хочет быть последним и затеряться в пыли, оставленной прошедшими.

И как выбирается новая тропа с учетом опыта, полученного на прежних тропах, так и народ идёт по тропе, которая является продолжением пройденных троп.

У каждого народа – своя тропа.

Мы идем по тропе нашего народа.

И хоть можно достать до спины впереди и тебе в спину тяжело дышат – правило тропы, – что идешь один: след – в след, след – в след.

Идти по-другому тропа не дает.

И я иду след – в след, след – в след и шепчу: спасибо тебе, тропа, что ты есть; спасибо, что ты такая, какая ты есть.

Тропа, если бы тебя не было, нечего было мечтать о новых тропах после тебя, более трудных и поэтому более прекрасных.

Тропа, каждый день, проведенный на тебе, подтверждает необходимость встречи с тобой, и я благодарен судьбе за встречу.

Тропа, я уже не могу представить, что мог бы не знать счастья – идти по тебе, и не верю своему счастью, и с ужасом думаю, что могло бы случиться, что не дошёл до тебя, увлечённый другими тропами, возвращаясь с которых не подозревал бы, что возвращаюсь каждый раз не с тропы, а с дачи в набитой битком электричке.

Тропа, это иду не я, это идут со мной сотня поколений.

Тропа, я чувствую огромную ответственность перед ними.

Тропа, я обязан пройти тебя.

И поэтому твердо – след – в след, след – в след.

С единственной думой – о всех.

След – в след, след – в след.

Надежней это страховки нет.

Веревка связывает сильных и слабых.

Она же делит на сильных и слабых.

След – в след, след – в след.

Сильнее таких идущих нет.

Разрушен, разбросан, залит очаг, дававший тепло.

Оставлены мать и отец.

Оставлены дети.

Оставлена жена.

Оставлен муж.

И в новом очаге долго придётся раздувать огонь, чтобы стал устойчивым и можно было согреться.

След – в след, след – в след.

Сильнее таких идущих нет.

Каждый шаг – на виду.

А ведь так по тропе не идут.

Можно привлечь дикого зверя.

След – в след, след – в след.

Сильнее таких идущих нет.

От шума шагов созревает камнепад.

Нетерпеливо камешками шуршит, готовится к прыжку.

Может быть, ему не хватает ещё одного шороха?

След – в след, след – в след.

Сильнее таких идущих нет.

Тропа, мы пройдем тебя.

Потом у нас будут новые тропы.

Те, кто прошли эту тропу, строят наш дом, а их жены рожают детей, у которых уже другая судьба.

Июнь 1972

В Стене Плача моего народа много камней. Они впитывают слёзы, приносимые из разных мест. Это слёзы прошлого и настоящего...

– Ты задумался?

– Да нет.

– А зачем бросать?

– Так надо.

– А зачем?

– Морю на память.

– А зачем?

– Чтобы когда-нибудь вернуться сюда.

– А кто не бросит, не вернётся?

– Неизвестно.

– А мы вернёмся?

– Мы?

– Ты задумался?

– Да нет.

– А мы вернёмся?

Далеко летит монета.

Маленький фонтанчик.

– А сюда можно? – она показывает на воду рядом с камнем, берёт монетку за краешек, наклоняется к воде, и монетка падает.

И вдруг, только коснувшись воды, тусклая монетка вспыхнула, засветилась в лучах солнца, пронизывающих воду, она как бы не тонула, а оставалась рядом с поверхностью, мелко и часто дрожа, и так же внезапно как засветилась, внезапно исчезла.

– Ой! – она наклоняется ближе к воде, ища монетку.

Тепло камня, свежесть моря и солнце – вверху, внизу, вокруг.

– Ты задумался?

– Да нет.

– Задумался, задумался, я знаю.

– Да, задумался.

– О чём?

Тихо движутся невидимые волны, и за каждой бежит по дну золотая полоска преломлённого волной света. Золотые полосы бегут одна за другой, и нет им конца...

В Стене Плача моего народа есть несколько камней, которые впитывают слёзы, приносимые отсюда.

...А однажды в Иерусалиме выглянем в окно и, не веря своим глазам, скажем: снег. Выскочим на улицу и будем обсыпать друг друга снегом. И как можно незаметнее сотрём слезу, наплывшую из приятно колющей влаги в глазах...

Всё смешалось на тропе: где снег – вижу солнце, а где солнце – вижу снег.

И уже не пойму, где иду: ноги утопают в песке.

По какой только земле не шёл наш народ, и лишь нам выпало счастье чувствовать, как ноги загребают горячий родной песок.

Здесь у нас был красивый сад.

Мы вырастим красивый сад.

Осталось только дойти.

И хоть не знаем, сколько надо идти к тебе, Иерусалим, но если для этого потребуется вся жизнь, то мы уже идём. Если дойдут только наши дети, то мы тоже уже идём. Если дойдут только дети наших детей, то мы тоже уже идём.

И кто дойдёт, тот скажет: мы вернулись.

Но так, чтобы никто не услышал.

Июль 1972

У каждой тропы своё время: на одну выходят зимой, на другую – летом. По первой надо успеть дойти, пока не растаял снег; по второй надо успеть дойти, пока не выпал снег.

Настало время и нашей тропы. Но ее особенность – не знаешь, когда дойдёшь. Может быть, её занесет новым снегом или размочит половодьем?

Но если не знаешь, когда дойдёшь, выбираешь короткую тропу.

Короткая – трудная.

Так всегда бывает на тропах, начертанных временем перед народами, и такие тропы берутся только крылатыми народами.

...И снова я поднимаюсь в небо.

Так всегда будет с человеком: чтобы обрести счастье – иметь родную землю, без которой человеку нельзя, надо хоть раз подняться в небо и там, в полете, почувствовать её притягательную силу и опуститься на неё уже крылатым человеком.

Однажды уже поднимался в небо и почувствовал притягательную силу родной земли, но у меня не было крыльев, чтобы опуститься на родную землю. Я не стал крылатым человеком.

Теперь поднимаюсь в небо по тропе моего народа. Только на тропе своего народа можно обрести крылья. Для этого надо подняться высоко. Где вершина, дающая крылья, не знаю. Но она есть.

И тогда взмахну крыльями и они донесут меня до родной земли.

И у меня будет всё, что нужно человеку: родная земля и крылья для неба.

Меня ведёт вверх моя книга.

Моя книга – моя тропа.

Книга – что вершина пройденной тропы. Чем больше на этой тропе взято препятствий, тем она лучше. Это как у альпинистов, у которых чем сложнее тропа к вершине, тем значительнее вершина.

Для каждой тропы есть своя зачётная оценка. Чтобы получить такой зачёт, требуется на тропе взять препятствия нужной для зачёта трудности. Если препятствия не по силам и обойдены стороной, – тропу не зачтут.

Не знаю, зачтут ли мою тропу мастера троп, но я иду к вершине.

К моей книге.

Иду не для зачета.

Моя книга – мои крылья.

Крылья могут расти только такие, какие растут. И других не может быть. И какие бы они ни росли, это крылья.

Ими можно будет взмахнуть...

У каждого человека должна быть своя книга. В ней должно быть: и кто ты есть, и зачем ты есть. И пусть она будет только в нем самом, тысячи раз наговорённая, и пусть у нее будет читатель только он сам, тысячи раз её перечитывающий, – такой человек – крылатый.

Мы идем по тропе нашего народа, и у каждого из нас книга «Мой Израиль», у каждого своя. Это наши крылья, они растут и крепнут с каждым шагом по тропе.

Иногда крылья не выдерживают высоты.

И тогда падает с неба маленькая звёздочка отчаяния на нашу родную землю.

Счастливой будет земля, усыпанная упавшими с неба звёздочками.

Это будет звёздная земля.

Люди с надеждой смотрят в небо, и еще ни одна звёздочка не упала никем не замеченной. Эти звёздочки волнуют, манят, зовут к себе, в небо.

Но кем бы я ни спустился на родную землю, пусть тоже звёздочкой, я буду на родной земле, и буду смотреть в огромное и беспредельное надо мной небо,

и скажу каждому, стоящему на своей родной земле: над тобой и надо мной – небо, и над всей землёй – небо.

И под этим нашим общим небом мы – частицы нашей Родной Земли.

И летит в небе наша Родная Земля маленькой звёздочкой.

Может быть, она сама падающая звёздочка отчаяния.

Август 1972

В который раз – наверное, сколько людей, столько и раз, – есть мир и есть я – не то я, которому мама до сих пор выпрямляет сутулящуюся спину, стоит только забыть, что не надо сутулиться, и усилия мамы в этом смысле безрезультатны, а то я, которому прикасающиеся мамины руки, широкие, разработанные, передают сокровище этого мира, которое сразу, может быть, и не видишь, да и необязательно видеть сразу – поздно никогда не бывает, но хоть когда-нибудь увиденное, оно вызывает слезу и улыбку, которые возрождают его снова и несут его, передавая дальше, без чего этот мир ничто и благодаря которому он только и есть, и оно единственная мира суть, в котором это самое я пишется большой буквой, не будь только про самого себя написано, – рожденное этим я, оно даёт возможность и ему жить, – так вот: есть мир и есть я, для которого этот мир – сплошная тропа, по которой шёл мой народ во все времена, где бы он ни находился, и продолжает идти.

Что изменилось на этой тропе?

Ну, платье, ну, вкус мороженого, оно было всегда, просто в раскопках не находят – растаяло – вот, пожалуй, и всё.

И я нужен миру как лакмусовая бумажка, опущенная в этот мир и определяющая, равно как что есть каждый в отдельности в этом мире, так и что есть мир в своих отдельных частях и в целом.

Я нужен миру, как нужен первый звонок перед началом очередного действия спектакля, к которому на сцене уже всё приготовлено, кроме пустякового косячка, который всегда успеют прибить, пока будут спешить из буфетов, курилок, туалетов, – он нужен, этот первый звонок, хоть и возникает вопрос, зачем он, если дается второй и третий, и гаснет свет, и поднимается занавес, а они все ещё жуют, чего-то хрустят, устраиваются, и происходящее на сцене не захватывает зал, сцена живет своей жизнью, а зал своей, и лишь потом, когда много упущено, зал начинает разбираться в происходящем на сцене, правда жизни его захватывает, и вот зал слился со сценой – произошёл тот сплав, о котором находящиеся на сцене мечтают.

Я нужен миру, как ожидающему с надеждой рассвета тяжелобольному, в состоянии которого может наступить кризис, когда в ночной тишине широко раскрытые глаза не закрываются и кажется, что всеми забыт, брошен, покинут, оставлен и никого не дозваться, – нужен рядом кто-нибудь, делящий с ним страдания, чтобы можно было в тревожных коротких забытьях ускорить время до утра, когда придут врачи – они должны что-нибудь придумать.

Ну кто ещё так нужен миру?

В этом моя богоизбранность.

И я от нее никогда не откажусь.

Во имя мира.

И я кричу, переполненный радостью: мой мир, ты слышишь, я тот, кто я есть!

Но чтобы оставаться тем, кто я есть, я должен идти по тропе моего народа.

Только на тропе своего народа можно оставаться тем, кто ты есть.

И я нужен тебе, мой мир, только таким – идущим по тропе моего народа.

Поэтому я спрашиваю и требую ответа по праву моего народа, полученному в тысячелетиях: мой мир, ты видишь, это я, это идет твоя суть.

Мой мир, мы пойдём вместе.

Я тебе буду нужен.

Я тебе пригожусь.

Куда мы пойдём?...

Сентябрь 1972

Взмах, ещё взмах, и ещё.

Я как птенец машу своими крыльями.

Я вылупился, получив тепло больших птиц с сильными крыльями, излучающих его всем, кто должен вылупиться, и возможно, вызвал у них удивление своим появлением, но у этих птиц только так – всем крыльям хватит места в небе.

И мои крылья подрастают рядом с сильными крыльями, и благодаря им я ещё не потрепан, ведь всегда можно свалиться и попасть в чьи-нибудь лапы, если нет рядом сильных крыльев.

Сильные крылья больших птиц так рубят и рвут воздух вокруг, что поднялись мои пёрышки, и я почувствовал, что они не только пёрышки, и хоть не знал еще, что это такое – иметь крылья, невольно замахал, как птенец, которому предназначена иная жизнь, чем та, которой он живет, пока не чувствует крыльев, и познаваемая только с крыльями, а без них неведомая, и в которой, что бы там ни было, и как бы ни отличалась от прежней, и какие бы ни были опасности и невзгоды, и куда бы, в конце концов, ни занесли крылья, – единственная и естественная, если только подрастают крылья; и лишь после того как замахал, почувствовал, что замахал крыльями.

И замираю от восторга, что и от моих крыльев, пусть слабо, но рубится и рвётся воздух вокруг, как у больших птиц с сильными крыльями.

Взмах, ещё взмах, и ещё.

И летят перышки-листки от взмахов крыльями.

Они рождены новой главой моей жизни, потребовавшей от меня крыльев.

И, может быть, за этой главой моей жизни видится, что, как и у других людей, есть непреходящая глава их жизни – «моя Россия», «мой Дагестан», «моя Армения» и другие, – так и у моего народа есть непреходящая глава его жизни – «мой Израиль».

Вот и ещё один взмах крыльями – и ещё один листик полетит.

Может быть, впервые вышедший на необычную для себя тропу почувствует прелесть трудностей этой тропы и снова выйдет на нее, когда появится уже новая глава его жизни.

Для этого надо жить: посадить дерево на родной земле, положить камень в родную землю, утолить жажду тысячелетий из родника родной земли – надо жить.

А пока - непреходящая глава.

А пока, листик, лети.

Октябрь 1972

Каждый шаг по тропе приближает к вершине.

И однажды в конце очередного участка тропы подкрадывается вопрос: может быть, завтра вершина?

Может быть, и завтра.

И завтра какая-то неудовлетворенность – что-то большее ожидалось от вершины.

Но разве виновата вершина?

Какова тропа к вершине – такова и вершина.

Но все-таки, может быть, завтра?

И я смотрю на мою завтрашнюю вершину.

А вокруг – много взятых вершин. Много и повыше моей, только не каждый на взятой им вершине сложил пирамидку и оставил в ней записку.

Невысока моя вершина. Наверное, можно взять и большую. Но зачем?

Достиг высоты, чтобы лететь, – и летишь.

А главные наши вершины – впереди.

И будут братья вершины, пока хотя бы одна пара глаз будет торчать сквозь невысокую решётку, которую можно взять одним прыжком.

И будут лететь перышки-листки, рождённые взмахами новых подрастающих крыльев.

Перышки-листки будут лететь, потому что если не будут рождены взмахами крыльев, то будут вырваны из себя с кровью, – картина тропы моего народа, выполненная натуральными красками, и на расстоянии не видно грубых, шероховатых, грязных мазков, слившихся в благородную картину, и разговоры о качестве мазков мешают наслаждаться взволновавшей картиной.

И будут лететь перышки-листки, потому что, если потребуется, будут вырваны даже в крыльях те немногие оставшиеся ещё перья, без которых уже не долететь, – когда, если даже не выдергивать их, уже тогда непонятно, как это можно, и какой смысл, и зачем лететь кровавому месиву.

И наперекор подкрадывающемуся вопросу: может быть, завтра? – вперед по тропе! и да здравствует тропа!

А «завтра» обязательно будет, когда я оставлю записку в сложенной на взятой вершине пирамидке.

Но на вершину, если это вершина (а она будет вершиной, маленькой, но вершиной, а она всегда будет для меня маленькой, но моей), никогда не поднимешься один.

И напишу имена, а под ними припишу: «И всем хорошим книгам – шалом!»

И полечу.

И буду лететь над красивыми городами – самыми красивыми для тех, чьи эти города.

И буду запихивать в прошлое самые медленные секунды в моей жизни и отрывать ещё сцепленные с будущим.

Так где же мой самый красивый город? Я-то знаю, что самый красивый город – мой.

И вдруг...

Это почувствуется, я догадываюсь об этом, как никогда это не испытывавший может догадываться, что с ним так будет, потому что он такой, как все.

И скажу: здравствуй, Иерусалим, мы вернулись.

Но так, чтобы никто не услышал.

...И будет день. Мы вернулись к своему берегу моря, которое среди всей земли.

И как раньше, так и теперь, и как у всех берегов, так и у нашего берега тихо движутся невидимые волны, и за каждой бежит по дну золотая полоска преломлённого волной света. Золотые полоски бегут одна за другой, и нет им конца...

За время нашего отсутствия на несколько сантиметров убавилось воды в нашем общем море, а может, прибавилось.

И как человек однажды вдруг пьянеет от сладости обычно неприметного и миллионы раз сделанного вдоха, так и нам откроется нашей жизни вечная мудрость.

Ноябрь 1972

Еще не время нового Флавия.

И в мире весна.

И праздник весны.

Есть на тропе участок – на каждой уважаемой тропе он есть, – подобного которому никогда не брал, с которым никогда не мерялся силой, а весь ты – сплошная боль.

Моя боль – мой Израиль.

Мой Израиль везде во мне.

Это моя сплошная боль.

С каждым шагом по тропе боль сильнее. Но и с каждым шагом улавливаю, как везде во мне, где моя боль, поется тихая песня, необычная, неясная, но знакомая, своя, родная.

Я родился без этой песни и только когда почувствовал, что иду по тропе моего народа, услышал ее.

Она доносится из тысяч вёсен, через которые прошел мой народ по своей тропе.

И в праздник весны мы стелим лучшую скатерть и садимся за праздничный стол.

Пуст наш праздничный стол – горек нам в такой день хлеб, который мы готовы обменять на черствый хлеб родной земли.

И в трудное за праздничным столом время слышится тихая песня.

Она доносится из окон горящих гетто с живыми вспыхнувшими факелами.

Она доносится из рвов с улегшимися поплотнее – разрешается ложиться рядом с родными и близкими, чтобы больше уместилось.

И я пою тихую песню.

От этой песни исходил блевотиной пьяный разгул погрома. Может быть, от этой песни этой весной немножко тоже тошнотно?

И как вслушивается в себя тяжелобольной, вдруг почувствовавший неожиданное облегчение, еще незначительное, но сулящее надежду, вслушиваюсь, как тихая песня, подобно доброй руке, притрагивается везде во мне, где моя боль.

Я пою тихую песню, и в моих глазах не только одна боль.

Её вытесняет песня.

И над нетронутой скатертью – праздник, светлее которого нет.

И остаётся внизу весна.

И снова тропа.

И тихая песня над ней.

Декабрь 1972

Добежать...

Броситься в воду, опрокинуться спиной, телом бить по воде, поднимать брызги как можно выше, кричать залитым ртом...

– Папа! – она хватается за маму. Ее мама закрыла лицо руками. – Что с папой? – она оттирает от глаз слезы, размазывая по лицу, а то за ними не видно, что с папой, ей кажется, что если что-то не увидит, то от этого будет хуже её папе, а если она его видит, с ним ничего плохого не будет.

Загребать воду, лить на себя, мокрого и пьяного, дико хохотать и бежать, разбрасывать руки и ноги в диком беге, обессилеть, встретиться с солнцем и наполнить им глаза до краев, выползти на берег, перевернуться на спину, раскинуть руки...

– Теперь тебе хорошо? – спрашивает она и, – всё, это последние, – вытирает последние слёзы и – всё, всё, это самые последние, – вытирает самые последние слёзы...

Декабрь 1972, Москва.

